

## JEZYKOZNAWSTWO

Albert Bartoszewicz, Leontij Mironiuk

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM w Olsztynie

Instytut Filologii Rosyjskiej UAM w Poznaniu

### К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ КОНДЕНСАЦИИ МЫСЛИ

Как известно, одним из основных понятий лингвистической теории А.А. Потебни была его идея об изоморфизме слова художественному произведению: "Слово... первоначально есть символ, идеал и имеет все свойства художественного произведения"<sup>1</sup>. В этом аспекте Потебня рассматривал слово, с одной стороны, как „могущественное средство развития мысли"<sup>2</sup>, а с другой – ее „сгущения"<sup>3</sup>. Термин „сгущение мысли" был заимствован им у Г. Штейнтала и М. Лацаруса, однако, как отмечают исследователи, Потебня обозначил им не процессы индивидуальной психологии, а „общезыковые семантические преобразования, закрепляемые в фактах языка"<sup>4</sup>.

Потебня заметил, что пословицы и поговорки возникли в результате „сжатия" народных повестей, басен, песен, сказок или же отдельных общечеловеческих сентенций типа: „Природа ничего не уступает человеку без труда" – „Без труда не вытащишь и рыбку из пруда" и др. Это явление можно квалифицировать как **первый** (начальный) этап языковой конденсации мысли. Помимо примеров самого Потебни можно привлечь факты из трудов В. Даля, *Крылатых слов* С. Максимова, *Крылатых слов* Н.С. Ашукина и М.Г. Ашукиной, *Образов русской речи* В.М. Мокиенко и др. Так, пословица

---

<sup>1</sup> А. А. Потебня, *Слово и миф*, Москва 1989, с. 182.

<sup>2</sup> Там же, с. 187.

<sup>3</sup> Там же, с. 152.

<sup>4</sup> В.А. Гречко, *Семантическая терминология А.А. Потебни как система*, [в:] *Наукова спадщина О.О. Потебні і сучасна філологія*. Київ 1985, с. 177.

„Не в бровь, а в глаз” родилась на основе казацкой легенды, приведенной в *Тверских новостях* (С. Максимов). „Сжатыми” повествованиями являются и „исто- рические” фразеологизмы типа „Мамаево побоище”, „как Мамай прошел”, „казанская сирота”, „вольный казак”, „во всю Ивановскую” и пр. (В. Мокиенко). Опираясь на широкий паремиологический материал и принципы функционального взаимодействия устойчивых оборотов и отдельных слов, нетрудно предугадать последующий ход „сгущения” мысли, вплоть до однословного ее выражения, ср.: рус. бить баклуши – баклушничать, собаку съест – насобачиться, работать как ишак – ишачить и пр.; укр. вирячитися мов баран на нові ворота – збараніти; звертатися або дивитися звіром, сердито, люто – визирітися; пол. koziołkować, świnić, baranieć и др.

Выше речь шла о внешней стороне языковой конденсации мысли; внутренняя суть данного процесса может быть раскрыта на основе еще одного важного положения лингвистической теории Потебни, которое мы определяем как „компаративистский центрзм”. Смысл предлагаемой дефиниции позволяет выяснить следующий экзemplификационный этюд: 1) „исходная точка языка и сознательной мысли есть сравнение и ... язык происходит из усложнения этой первоначальной формы”; 2) нужно „видеть сравнения в первобытных предложениях”; 3) „При некотором знакомстве с языком легко заметить, что примета в своем древнейшем виде есть развитие отдельного слова, видоизменяемые сравнения”; 4) Наконец, „изменяется не только содержание сравнения, но и напряженность сравнивающей силы... Меняются и формы, переходя от одного члена сравнения к другому, и смысл этих изменений вполне подтверждает положение, что поэзия не есть выражение готового содержания, а, подобно языку, могущественное средство развития мысли”<sup>5</sup> (подчеркнуто нами. – А.Б., Л.М.). Следовательно, Потебня рассматривал сравнение в качестве основного механизма „сгущения” мысли, действие которого можно ретроспективно представить себе, очевидно, в таком виде: привычные сравнительные обороты кодируются в языковой памяти как „следы” типизированных схем наподобие „работать как ...”, „голодный как ...”, „злой как ...” и им подобные. Чаще всего место второго компонента в такой схеме занимал анимализм как один из древнейших эталонов сравнения. Исходя из широкого философского понимания языка Потебней (очевидно, вслед за Гумбольдтом: „язык как действие”, „язык как дух народа” и др.), можно предположить, что при наличии нескольких параллельных (вариантных) сравнительных оборотов с одним и тем же стержневым словом (например: работать как ишак, как конь (лошадь), как вол ...) не все они могут „сворачиваться” в однословные элементы в системе только одного языка. В самом деле, на основе русского компаратива „работать как ишак” образовался зооморфический глагол „ишачить”, сербского оборота „радити

<sup>5</sup> А. А. Потебня, указ. работа, с. 195, 143, 189, 187.

как конь” – „коњосати” (работать как конь), македонского „радити как вол” – „воьити” (работать как вол) и т.д. Следовательно, в большинстве случаев только широкий контекст всех славянских языков, а также их древнейших форм и диалектов сможет пролить свет на проблему языковой конденсации мысли.

Параллельно с вышеуказанными процессами происходит формирование двух важных лексико-грамматических категорий, связанных со сравнением и „сгущением” мысли. Речь идет о категории предельности и мезонимности („срединности”). Категория предельности чаще всего связана с превосходной степенью сравнения в ее эксплицитном выражении, ср.: милейший человек, в самом крайнем случае, лучше всех и пр. Повышение предельности выражают также и разнообразные компаративные обороты типа „глупый как баран” (ср.: „глупый”), „упрямый как осел” (ср.: „упрямый”), „голодный как волк” (ср.: „голодный”) и др., а также „с яйцеподобной головой”, „с лошадиным лицом”, „со слоновьей походкой” и пр. Здесь необходимо повторить, что в свое время подчеркивал Потебня: „Изменяется не только содержание сравнения, но и напряженность сравнивающей силы...”<sup>6</sup> Сравним – в этом аспекте – следующий внешне замкнутый образно-компаративный ряд простых и сложных номинаций: лиса „хитрый человек” – хитрый как лиса – прикидываться лисой – лисить. При всей подчеркнутой интенсивности характерологического значения ни одно из указанных наименований не передает категории предельности, поскольку сравнительный оборот „хитрый как лиса” можно трансформировать в компаратив „хитрее лисы”. Что же касается зооморфического глагола „лисить”, то для него универсальной трансформационной моделью, выражающей сему „предельность”, будет схема НА ... СЯ, т.е. „налиситься” (вдоволь, вволю, досыта и пр.). Ср. также: „Ну и наишачились мы – до чертиков!” и др. Кроме модели НА ... СЯ, с передачей семы „предельность” связаны глагольные образования с конфиксами ДО ... СЯ (допиться) и ПЕРЕ ... СЯ, ср.: „До того дожились, что ножки съезжились”, „Лучше перекланяться, чем недокланяться” и пр. Однако русский народ весьма скептически относится к проблеме передачи предельности в полном объеме, о чем свидетельствует хотя бы такое речевое образование, как „недоперепил” или „перенедопил”, т.е. „выпил больше, чем мог, но меньше, чем хотелось” и пр.

В тех случаях, когда сравнительный оборот не сжимается до уровня однословного эквивалента (типа „считать ворон” – воронить, проворонить), категория предельности выражается с помощью механизма обратной (противоположной) направленности, т.е. в сторону увеличения компонентов, чаще всего – однокорневых, что, в известном смысле, соответствует мысли Потебни о „бессознательном стремлении возобновить забытую внутреннюю

<sup>6</sup> Там же, с. 187.

форму слова”<sup>7</sup>. Классической моделью в этом плане будет четырехкомпонентная тавтологическая конструкция типа „грешить грешнее грешного грешника”. Возможна замена атрибутивного компонента, ср.: „грешить грешнее закоренелого грешника” и др. Более распространенной, однако, является трехкомпонентная тавтологическая модель, зафиксированная в текстах художественной литературы, ср.: *tchórzac tchórzliwiej od tchórga* (Адам Мицкевич, *Пан Тадеуш*), „одичание дичее дикости” (Андрей Битов<sup>8</sup>) и др. В чешском языке, очевидно, эта модель является наиболее распространенной на фоне других славянских языков, поскольку явно невыразительные – в аспекте внутренней формы слова – строки стихотворения Е. Евтушенко в переводе заменяются прозрачной однокорневой конструкцией, ср.: „Покуда падчерица пачкается, Чумаза, словно нетопырь” – „*Popelka v popeli se popeli*”, т.е. „Золушка в золе золится” и др.

На фоне соотношения „сравнение” – „предельность” проблема „мезонимия как сравнение” выглядит более сложной. Под мезонимом мы понимаем „срединный” элемент между двумя антонимами, т.е. своего рода „лингвистическая биссектриса”, например: верхний – средний – нижний, левый – центральный – правый и т.д. Разнокорневая мезонимия (как в вышеуказанном случае) явно является предметом таксономического языкознания с его иерархизированным представлением о языковой системе и структуре. В однокорневых мезонимах эта зависимость выражена сугубо грамматически, с помощью морфемы пол- и полу-, ср. у Пушкина: „Полумилорд, полукупец ...” и т.д.

Нам думается, что именно на основе сравнения у человека с давних пор вырабатывается мезонимный тип мышления в таких его разновидностях как: а) фольклорно-сказочное мышление, ср.: „налево пойдешь ...” – „прямо пойдешь ...” – „направо пойдешь ...”; б) историческое мышление, ср.: древние века – средние века – новые века (новое время); в) пространственно-географическое, ср.: северный полюс – экватор – южный полюс; Средиземноморье, Междуречье и пр.; г) металингвистическое, ср.: стили „высокий – средний – низкий”, время „прошедшее – настоящее – будущее”, род „мужской – средний – женский”; а также: полуустав, полугласный, полупредикативный и пр.

Интересный пример тоталитарно-политического типа мышления мы обнаружили в статье Наума Коржавина *Обожженные историей*, ср.: „Действие его (фильма *Утомленные солнцем*) происходит летом 1936 года, другими словами, летом одного из тех нескольких (1934–1938) годов, которые

<sup>7</sup> Там же, с. 185.

<sup>8</sup> Цит. по: Ирина Раднянская, *Преодоление опыта, или двадцать лет странствий*, „Новый мир”, 1994, № 8, с. 227.

все вместе составляют так называемый „тридцать седьмой”<sup>9</sup>, т.е. „мезонимный” 1937 год.

Сфера использования однокорневых мезонимов весьма обширна. Они встречаются в публицистическом стиле: полуимперия, полуколония, полуполегалный, полуправда, полудемократия; в общетехническом: полуавтомат, полупроводник, полуогнеупорный; в отраслевой терминологии: полураспад, полукристалл, полусернистый, полупустыня, полукустарник и пр.

Примером образно-художественного „сгущения” мысли в русской классической литературе XIX века является мезоним „полурусский”:

Богат, хорош собою Ленский.  
Везде был принят как жених;  
Таков обычай деревенский;  
Все дочек прочили своих  
За полурусского соседа...<sup>10</sup>

Известно, что многие русские дворяне знали французский язык лучше русского, о чем с болью писали и Пушкин, и Грибоедов, и Толстой. „Полурусскими” – в отличие от помещиков – называли представителей столичного дворянства, поэтому этот мезоним в русской культуре остался в качестве своеобразной идеологемы.

Мезонимными по своему происхождению были и некоторые русские собственные имена типа Полупанов, Полубояринов, Полуфранцузов. Лев Толстой, например, считал, что главная героиня его романа *Воскресение* Катюша Маслова имела „срединное” имя: не Екатерина или Катенька, а Катюша. Это же замечание можно отнести к целому ряду подобных ласкательных слов.

Наконец, необходимо еще отметить, что в настоящее время особенно актуальным оказалось отрицание как своеобразное сравнение, только более сложное и многослойное. Разумеется, мы здесь имеем в виду не отрицательные конструкции типа „Не ветер бушует над бором”, а однословные элементы образной негации, или своеобразная система „не-слов”.

Бурный рост этих слов ознаменовал начало (О. Мандельштам, Ю. Тынянов) и конец (Ю. Лотман) XX века. Роман Якобсон отмечал их сконденсированную образность и называл „поэтическим диалектом”<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Н. Коржавин, *Обожженные историей*, „Литературная газета”, 18.10.1995, с. 3.

<sup>10</sup> А. Пушкин, *Евгений Онегин*, Киев, 1974, с. 34.

<sup>11</sup> См.: С. Аверинцев, *Судьба и весть Осипа Мандельштама*, [в:] *Осип Мандельштам*, Сочинения в двух томах, т. 1, Москва, 1990, с. 61.

Образная негация, повидимому, является одной из составляющих парадигмы неклассического мышления (точнее – инорационального типа мышления) XX века. Французский философ Гастон Башляр положил ее в основу своей *Философии отрицания*, неоднократно подчеркивая, что это не игнорирование, а „подлинное расширение” научного знания<sup>12</sup>. Или – это та же конденсация мысли в слове. Попутно заметим, что русские философы также весьма охотно прибегали к помощи „не-слов”; так, ключевыми словами Н. Бердяева были „несотворенная свобода” и „небывшее” („Самопознание”). Еще активнее негационная лексика использовалась мастерами художественного слова, ср.: „Справедливость – это любовь к *несправедливости*” (Томас Манн); „Единственная защита невидимой красоты в том, что она невидима” (Жан Кокто); „Заблудившись где-то, Тщетно верим мы В непрозрачность света И прозрачность тьмы” (М. Волошин) и др.

В русском советском языке (в отличие от русского классического) значительная часть „не-слов” была идеологизирована и использовалась в качестве средства языковой маскировки. Идеологическая изощренность делала нередко „не-слова” своеобразными терминами, классифицирующими советских людей на „невъездных” и „невозвращенцев” (попутно заметим, что слово „возвращенец” появилось гораздо позже), а их состояние на „неуютность”, „ненадежность”, „неустроенность”, „невесомость” и т.д. Необычайно высокая конденсированность образной мысли подобных слов может быть проиллюстрирована замечательным примером из книги А. Солженицына *Архипелаг ГУЛАГ*: „... бесконечный неарест Бухарина лучше разрушал волю жертвы, чем прямое давление Лубянки”. Слово „арест” создавало своеобразный хронотоп жизни советского человека, выделяя в ней доарестный, арестный и послеарестный периоды. А их срединным элементом и был „неарестный период”.

Таким образом, проблема языковой конденсации мысли связана со становлением и эволюцией единиц и категорий различных уровней языка и нуждается в дальнейшем изучении как в диахроническом, так и синхроническом аспектах.

---

<sup>12</sup> Г. Башляр, *Новый рационализм*, Москва, 1987, с. 33.